

EUROPA ORIENTALIS 7 (1988)
CONTRIBUTI ITALIANI AL X CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI SLAVISTI (SOFIA, 1988)

ИЗОКОЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ

РИККАРДО ПИККИО

Этот доклад посвящается особой стороне процесса развития, приведшей в период с XVI–XVII до XVIII веков к введению точных правил стихосложения в восточнославянской литературе. У меня нет претензии дать исчерпывающий ответ на сложные вопросы, которые на протяжении более двух веков были предметом дискуссий специалистов и все еще затрудняют любую попытку описать процесс зарождения новой русской поэзии. В мои намерения входит предложение способа анализа данных, имеющихся в нашем распоряжении, который мог бы помочь нам расширить границы исследования именно благодаря своему отличию от некоторых традиционных методологических установок.

По моему мнению, еще более чем отдельные интерпретативные тезисы, многие оттенки которых было бы трудно представить схематически, две главные концепции обуславливают существующий подход к изучению процесса развития русской поэзии:

1. Поскольку на протяжении более чем половины тысячелетия поэзия отсутствовала в древнерусской литературе, поиски источников нового стихосложения ведутся в направлении традиций, не только отличающихся, но даже против-

воположных по отношению к предшествующей литературной культуре: действительно, считается, что русская поэзия в целях своего самоутверждения вынуждена была прибегнуть к совершенно новым образцам, поскольку она почти ничего не могла заимствовать от явно непоэтичной, полностью прозаической, предшествующей литературы православного славянства.

2. Проза и поэзия рассматриваются как совсем *противоположные термины* не только с точки зрения их теоретического определения, но и в связи с описанием их исторических функций: рассматривая поэзию как явление, полностью отличающееся по своей сущности от прозы, можно прийти к заключению что результаты изучения одного явления невозможno использовать при изучении другого явления.

По моему мнению, категорическое утверждение фактора *противопоставления* не способствует исследованию. Более гибкий и открытый критический подход приведет нас к представлениям, более близким к динамике исторического процесса. Идея о том, что в восточнославянской культуре утверждение стихосложения было возможно только при полном отказе от предшествовавших приемов писательской техники, возникает, как увидим, не из объективного анализа данных, имеющихся в нашем распоряжении, а скорее из историографических тезисов прошедших поколений и их идеологических полемик. Что касается соотношения *поэзии*—*прозы*, думаю, что не следует слишком настаивать на теоретических различиях, типичных для нашего теперешнего подхода. Было бы полезнее придать большую важность функциям этих приемов, чем их специальному существу.

Русская поэзия, понимаемая как кодифицированное искусство стихосложения, зародилась по крайней мере дважды: в XVI—XVII веках и затем в более торжественной и “установленной” форме в XVIII веке. Общие схемы политической и культурной историографии приучили нас в течение долгого времени считать решающим перелом, отмеченный петровскими реформами. По этим схемам, если новая литература зародилась только после Петра, предшествовавшая литература вся в целом могла быть только устаревшей и, с точки зрения новаторов XVIII века, грубой и отсталой, как если бы поколение Тредьяковского и Ломоносова было призвано распахнуть неожиданно литературное “окно” на Запад.

Теперь уже ясно многим исследователям, что дела не обстоят таким образом. Новый критический пересмотр восточнославянской литературы XVII века, которая явилась общим источником вдохновения для новой национальной украинской, белорусской и русской литературы, становится все больше одной из главных задач современного литературоведения. Речь идет, в частности, о том, чтобы определить, до какой степени широкое распространение моды стихосложения повлияло в XVIII веке на возникновение настоящей литературной системы. Я думаю, что можно говорить о новой литературной системе, отличающейся от древнерусской системы, на которой основывалась писательская деятельность с XI до XVI века. Это подтверждается появлением новых видов литературной деятельности, от поэзии до драматургии, ярко представленных творчеством такого литератора, как Симеон Полоцкий. Не менее важным нам кажется то, что новшества в XVII веке в области формы были связаны с новой концепцией писательского искусства, то-есть с новой теорией литературы.

Необходимо еще раз поставить вопрос, не начался ли, действительно, разложение древнерусской литературной системы в связи с тяжелым кризисом Смутного времени, то-есть за век до петровских реформ.

Если согласимся с этой гипотезой, перед нами возникнуть две еще большие проблемы: 1) по какой причине кодификаторы новой русской литературной системы в XVIII веке отвергли результаты модернизации, начатой в предыдущем веке, занимая часто позицию создателей *ex novo*? 2) как и в какой мере первые новаторы XVII века изменили, приспособили или отвергли некоторые древнерусские концепции писательского мастерства?

Не претендую дать точный ответ на запутанные между собой проблемы, связанные с этими основными вопросами, кажется разумным подвести тезисы русских литературных кодификаторов первой половины XVIII века под общий знаменатель полемически реформаторской идеологии, пронизанной государственным патриотизмом. От Феофана Прокоповича до Ломоносова главной идеей руссофильского течения (выраженной в дискуссиях с академическими властями) было утверждение, что местная культура была способна создать новую торжественную литературу, достойную возникающей Русской

Империи. Это стремление привело не только к той программной оппозиции по отношению к *старой Руси*, которая так понравилась иллюминистам и затем выразилась в конфликте между западниками и славянофилами, но и к отвержению всего того, что было связано с идеологией завоевателей, которые первыми выступили против *старой Руси*, то есть, в данном случае, против “слабую родину” прошедших времен. Отсюда систематическое отвержение любого культурного опыта, связанного с польскими, католическими, латинскими образцами. Тогда еще невозможно было угадать в явлениях латинокатолической и польской культуры исторических носителей великой гуманистической цивилизации, которая уже в течение двух веков обновляла литературную жизнь большей части Европы. Распространение среди восточных славян в течение XVII века литературной культуры с гуманистическими и католическими тенденциями не могло быть рассмотрено иначе, чем в свете местных трагических событий, последовавших за Брестской Унией 1596 года. Действительно, при первых Романовых в то время, как происходил развал Речи Посполитой, имело место возрождение русскоправославной традиции, и присоединение Украины способствовало тому, чтобы процесс европеизации, начатый в Смутное время, пошел в направлении русского централизма. Именно против культуры такого типа, неподходящей с точки зрения технической и политической и все еще имеющей польские и латинские тенденции в разных областях, начиная с литературы, развернулась однако реформаторская деятельность Петра. Государственный патриотизм не мог не следовать по пути исторической перспективы, которая навязывалась событиями того времени, устранивая именно в мир *старой Руси* действительно новаторские опыты, которые были удалены в тень прошлого, хотя и были недавними.

Эти замечания и реконструкция в общих чертах атмосферы, в которой развернулась в XVIII веке дискуссия о новой поэзии, толкают нас на мысль, что идея четкой оппозиции между *старым* и *новым* возникла не из непосредственного изучения литературного достояния, которое можем назвать *древнерусским*, а скорее из полемики против “ошибочной” манеры обновления, характерной для литературы и, в частности, для поэтов XVII века.

Хотя критическое усилие поколения Тредьяковского и Ломоносова было направлено на то, чтобы добраться до “искон-

ных” источников национальной поэзии, оставляя в стороне “ошибочный” путь, по которому пошли последователи силлабизма польской тенденции, в действительности, оно не могло на практике не приспособиться к тем же самым схемам гуманистической тенденции, в рамках которых действовали последователи польской тенденции. Как уже случилось в большей части Европы, начиная с Италии XV–XVII веков, обновление литературных форм, то-есть создание нормативной реторики, включая также и стихосложение, не могло происходить в отрыве от вопроса языка. Со времени Зизани и Смотрицкого вырабатывались первые правила стихосложения в грамматических трактатах, составленных с целью утверждения достоинства и установления норм славянского языка. В первой половине XVIII века проблемы реторики и языка все еще ставятся вместе, хотя главным предметом изучения становится новый русский язык вместо славянского языка, к тому времени уже устаревшего.

Нетрудно понять, как эти переплетения между отвержением и зависимостью, между идеологическими конфликтами и фактической последовательностью связи первого (в XVII веке) и второго (в XVIII веке) зарождения русской поэзии в какой-то мере запутали исторические и критические перспективы современных исследователей. Тот, кто не дооценивает или недостаточно подчеркивает решающую роль первого зарождения, может быть вынужден применить для анализа эволюционного кризиса XVII века критические схемы, которые, в действительности, отражают более позднюю полемику, касавшуюся второго зарождения русской поэзии. По мнению реформаторов XVIII века, новая поэзия не могла родиться из средневековой литературной традиции. Тредьяковский (*О древнем, среднем и новом стихосложении*) обвинял средневековую церковную культуру в том, что она, по его мнению, задушила первый голос непринужденной поэзии славян дохристианского периода. Ломоносов, со своей стороны, был согласен на то, чтобы дать новую оценку старых церковных книг, но не для того, чтобы искать в них голос поэзии. Таким образом, источники русской поэтической традиции разыскивались в устной традиции, красивой и подлинной, но не достигшей литературного достоинства, не будучи записанной или в экспериментах почитателей силлабизма, неполноченных и к тому же чуждых национальному духу. Такая лите-

ратура, которую теперь мы называем древнерусской, веками создававшая только прозу, категорически игнорируя стихи, и к тому же мало знакомая литераторам XVIII века, не могла в такой исторической перспективе не оказаться отстраненной.

Нет особых причин для того, чтобы приписывать подобный образ мыслей также и стихотворцам, которые с конца XVI века заполнили множество томов поэзией в различных формах восточнославянского литературного языка. Со времени Герасима Смотрицкого до времени его сына Мелетия и еще на протяжении хотя бы ста лет не было места для модернистической полемики против местной старой традиции, по крайней мере среди восточных славян. История вопроса языка в тот период указывает скорее на то, что защита славянского языка от обвинений в его культурном несоответствии, исходивших с польско-латинской стороны, отражает сильную привязанность ко всему тому, что было местным выражением славянскоправославных традиций, воспринятых от предков. Поэтому можно подумать, что введение стихосложения среди православных славян, живших, как в Рече Посполитой, так и на территориях, присоединенных к Москве, рассматривалось, как способ обогащения и облагораживания национального языка и местной литературной традиции.

* * *

Нет сомнения в том, что обширная картина истории культуры, здесь набросанная мною в общих чертах с тем, чтобы определить хотя бы основные линии сложной проблемы, требует дальнейшего изучения и уточнения. Однако мне кажется, что есть достаточно оснований, чтобы предположить, что стихотворцы XVII века не руководились только новыми моделями и модами, с которыми сталкивались, благодаря все более подчеркнутому польско-украинско-русскому симбиозу, и что роль народных песен как стилистическая модель не могла быть решающей. Их специфический опыт читателей старой местной прозы с церковными интонациями, а также их чувствительность и вкус писателей, сформировавшихся на этих текстах, должны были сыграть важную роль. Однако думаю, что использование стихов со стороны авторов, сформирова-

вшихся по православно-славянской писательской традиции, могло войти в некоторое композиционные схемы, уже существовавшие в старой прозе.

В частности, мне кажется, что типичный объединяющий элемент *старой прозы и новой поэзии* можно указать в приспособлении к новой системе стихосложения традиционного типа ритмо-синтаксического членения, которым я много-кратно занимался в прошлые годы и которое я называю *изоколической сегментацией*. Речь идет, как уже доказано многочисленными исследованиями, о *figura sententiae*, использованной в течение веков в различных текстах всей территории православного славянства. Подобно ἰσόκωλον классической реторики, этот формальный прием заключается в регулярном распределении в фразе сегментов или членов (по-гречески: κῶλα, по-латински: *membra*) с одинаковыми свойствами. В случае славянских изоколических структур эти свойства во взаимосвязанных колонных определяются *одинаковым количеством ударений независимо от количества слов*. Особенность каждого колона зависит, естественно, от совпадения ударного сегмента с границами независимого логично-семантического выражения.

Справедливо сказано, что тонические и изоколические структуры украшают прозу, но не свойствены поэзии. В прошлом, разбирая, как древнерусские тексты, так и тексты других зон православного славянства, я тоже согласился, хотя и не полностью, с этой точкой зрения. Однако на этом новом этапе исследования считаю нужным уточнить: то, что тонический изоколизм имеет место прежде всего в прозаических текстах, не исключает возможности того, чтобы изоколические структуры получили место в структуре поэтического текста. Это означает, что изоколизм с этой точки зрения не является отличительным элементом. Даже если изоколизм сам по себе не может достичь той же формальной эффектности, как стихосложение, это не означает, что стихосложение не может хотя бы частично следовать по тем же структурным моделям, посредством которых выражается изоколизм.

Эти замечания важны для настоящего исследования. Считаю, что традиционные изоколические структуры древнерусской прозы должны рассматриваться, как возможные протомодели, а может быть, даже как источники новой поэзии XVII века. Создается впечатление, что в определенной мере старая

проза как бы вскормила новую поэзию, указывая ей композиционные схемы и передавая ей некоторые реторические образцы.

Прежде чем иллюстрировать конкретными примерами эти выводы, считаю нужным сделать сначала одно техническо-методологическое замечание. Как может изоколически расчлененная проза вскармливать или даже порождать стих, если для стиха характерна именно особая внутренняя структура, которая по своему существу должна отличаться от структуры прозы? По моему мнению, решение этих в основном исторических проблем затрудняется, если слишком настаивать на специфике текста. Конечно, стих не только сегмент, но также сегмент. С точки зрения синтаксиса и композиции, колоны и стихи могут играть ту же роль. Итак, это исследование имеет целью осветить эволюционный процесс, благодаря которому изоколическая сегментация прозы могла дать руководящие схемы для сегментации в стихах. Кроме того, увидим, что два вида сегментации могли иметь место одновременно не только в так называемых *неравносложных виршах*, где трудно разграничить поэзию и прозу, но и в более зрелых примерах силлабического стихосложения XVII века и начала XVIII века.

Кажется, что слияние стихотворной и изоколической сегментации в одно синтаксическое русло отвечает постоянным требованиям векового развития писательских приемов православного славянства. Если в XVI–XVII веках можем наблюдать разветвление новых форм стиха от традиционного потока изоколических структур, то в истоках православно-славянской литературы можем заметить противоположный процесс: поэтические структуры присоединяются к изоколическому прозаическому контексту.

В статье написанной для выходящего в Париже сборника в честь Роже Бернара я попытался выяснить двух типов сегментации, анализируя так называемый *Проглас*. Я заметил, что изоколическая организация ясно ощутима в тексте, в то время как о предполагаемой зависимости этого текста от первоначальной схемы стихосложения можно только строить гипотезы, прибегая к реконструкции. Что касается присоединение поэзии, я привел примеры (*"Ricerche Slavistiche"* 18–19 (1970–72): 419–445), исходя из стихотворений, обнаруженных Трубецким и Якобсоном в *Житии Константина* (R. Jakobson, *Selected Writings*, V/1, стр. 207–239). В то время, как в случае молитвы,

обращенной Константином к священной чаше Святой Софии в Константинополе (Ж.К. 13) наблюдается полное совпадение стихов, указанных Якобсоном, с прозаической присоединяющей структуры, молитва Константина, обращенная к Святому Георгию Богослову (Ж.К. 3), должна быть прочитана в контексте по сегментации, отличающейся от предложенной Трубецким и Якобсоном. Пример кажется мне особенно интересным. Трубецкой-Якобсон читают:

Ѡ Григоре, тѣломъ / чловѣче, а душенїкъ / днїелъ //
ты бо, тѣломъ / чловѣкъ сиы, / днїель вви са, //
оуста бо твоя, / єко єдинъ / отъ серафимъ, //
бога прославлѣнїкъ, / и вѣсь миръ / просвѣщайкъ //
правыя вѣры / казаниемъ, / тѣмъ же и мене, //
припадающъ / къ тебѣ любвики / и вѣрою, //
приими и бжди ми / просвѣтитель / и оччитель. //

Мое чтение той же молитвы по ритмически-синтаксической схеме целой главы Ж.К. приводит к иной сегментации:

3 съдѣаше /в дому/ своимъ,
3 оче се /изъ очи/ книгамъ
3 светаго /Григорія/ Богослова
3 и знаменіе /кръстное/ сътвори

2 на стѣнѣ / и похвали
2 светому / Григорію
2 написаў / сицеву

5 {	3	"О Григор'е/тв'ломъ/чловъче// 2	а доушею/аггеле,
5 {	3	ты тв'ломъ/чловъкъ/сы// 2	аггеле/иави се.
5 {	2	О чуста бо/твоіа// 3	яко/єдинъ/штъ серафимъ

2 Бога /прославляютъ

5 { 2 и выселенчную /просвещают/ //
3 ПРАВЫЕ /веры /сознанием.

2 ТЫ М' ЖЕ / И МЕНЕ,

4 { 2 припадающа /к тебе//
 2 любовию /и верою,
 4 { 2 приими /и боудими//
 2 учитель /и просветитель".

2 Такова завещанье.

2 Въшьдъ же въ многыи бесѣды,
 2 в оученіе велико вниде...

Графическое изображение сегментации этого отрывка третьей главы Ж.К. позволяет тут с первого взгляда заметить безболезненное вклинивание молитвы Константина в ритмический контекст агиографического повествования. Сама молитва проявляет лучше свою синтаксически-семантическую структуру. Как в пятиударных (3 + 2 и 2 + 3), так и в четырехударных (2 + 2) комбинациях, полу-колон имеют четко определенную роль комментария: их должен был бы произносить другой голос в антифональной игре лiturгической декламации. Симметрия отработана в деталях. При поверхностном чтении может показаться, что автономный колон с двумя ударениями Бога /прославляютъ прерывает регулярное течение ритмической серии. В действительности, нет ничего нерегулярного. Этот колон сразу же находит соответствие в другом автономном колоне с двумя ударениями Тѣм' же /и мене, расположенный "рамкой". Однако ясно, что Бога /прославляютъ подсказывает читателю паузу. Это пауза, семантически необходима и реторически удачна, потому что помогает именно подчеркнуть славу, воспетую Богу. В действительности, речь идет скорее о выразительной остановке, чем о паузе: это подсказано нам рифмой прославляютъ — просвѣщаютъ, введенной сразу же, чтобы как бы придать движение голосу, который иначе задерживается на мгновение больше необходимого.

По сравнению с изолированным чтением Трубецкого и Якобсона, это контекстное чтение имеет филологическое преимущество, потому что основывается на логичной схеме контролируемого выражения, поскольку оно документировано на основании рукописей. Гипотеза Трубецкого о метрической схеме основывается, наоборот, на предположении, что эта похвала является стихотворением, вставленным в прозаический контекст. Рассмотрение этого стихотворения как

автономной единицы приводит к большему интерпретационному риску. Действительно, мне кажется, что стих правы /*въры/кажданиемь, /тъмъ же/ и мене* лишен семантически-синтаксической самостоятельности. Но самое главное, это впечатление, что как в этом, так и в других случаях, *поэзия и изоколическая проза не только могут сосуществовать, но и включаться в общие структуры*.

Таким образом, в древнерусской прозе мы не будем должны неизбежно указывать *противопоэтическую* традицию. Поскольку изоколические схемы могли быть носителями поэтических структур, наш способ рассмотрения разбросанных остатков предполагаемой славянской церковной поэзии более архаического периода тоже должен быть пересмотрен. Мне кажется полезным остановиться в этой связи на *Похвале*, которой начинается *Изборник 1073 года*. Речь идет о знаменитом тексте (см.: Изборник Святослава. Сборник статей, Москва 1977), в котором сегменты, которые можно назвать *строками, стихами или колонами*, четко размечены — как в *Прогласе* — знаками препинания, поставленными переписчиками.

Два варианта, содержащиеся в *Изборнике 1073 года*, начинаются стихом-колоном с четырьмя ударениями, за которым следуют стихи-колоны с тремя ударениями:

- 4 Великии/в кнадъхъ/кнадъ/Святославъ.
- 3 Важделаниемъ/зъло/важдеда(въ).
- 3 Дръждаливии/владѣа/обавити.
- 3 Покръвениы/радоумы/въглоубинъ.
- ...

Изоколическая аномалия первого сегмента отсутствует в *Кирилло-Белозерском списке XV века*, в котором читаем:

- 3 Великии/въ црїхъ/Съмешнъ.
- 3 Желданиемъ/зъло/важдеда(въ).
- 3 Дер'жаливии/владѣа/собавити.
- 3 Съкровениы/радоумы/въглоубинъ.

Это наблюдение очень поучительно. В ходе текстологического анализа наличие изоколической “сетки” дает нам новый довод в пользу чтения, по которому первым вдохновителем-адресатом этого текста был не киевский великий князь Святослав, а Симеон, царь Болгарии. Регулярная изоколическая сегментация, сохраненная в таком позднем кодексе,

кроме того, оказывается не помехой, а сохранителем ритмо-синтаксической индивидуальности текста: это усиливает впечатление, что старая славянская православная проза могла быть не только не “враждебной”, а наоборот, могла оказать реторическую поддержку поэтическим структурам.

Конечно, трудно угадать, в какой мере поэтические “подлинные” структуры по ходу истории текста *Слова о полку Игореве* смогли приспособиться к контексту (редакторскому?) художественной прозы, или, наоборот, в какой мере эта проза навязала сегментацию, близкую к “стихам”, но не связанную с настоящими схемами стихосложения. Например, кажется, что в данном отрывке изоколизм совпадает с шестисиллабической структурой:

- 3 զаря /свѣтъ/ запала,
- 3 ызгla /пола/ прикрыла,
- 3 щекотъ /славы/ успѣ,
- 3 говоръ /галичъ/ убуди.

Не менее ритмичен, хотя и иначе, следующий отрывок:

- 4 Другаго /дни/ велими /рдно
- 4 кровьыя /зори/ свѣтъ/ повѣдадютъ,
- 4 чрѣныя /тучы/ съ моря /идутъ/
- 4 хотятъ /прикрыти/ четыре /солнца,
- 4 а въ нихъ /трепещутъ/ синии /млнни.

Кажется, что изоколическая структура опять становится носителем поэтических схем в следующем отрывке из Эпилога:

- 3 Солнце /свѣтится/ на небѣсъ!
- 4 Игорь /князъ/ въ рускои /земли!
- 3 Дѣвицы /поютъ/ на Дунай,
- 4 выютса /голоси/ чрезъ море /до Киева.

- 3 Игорь /вдѣтъ/ по Боричеву,
- 3 къ святви /Богородици/ Пирогоши.
- 4 Страны /рады/ грады /весели,
- 4 певшe /пѣснь/ старымъ /княземъ.

- 3 А потомъ /молодимъ/ пѣти!
- 3 слава /Игорю/ Святославичю!

- 4 Буи-Туру /Всеволоду// Владимиру /Игоревичу
- 3 Здрави /князи/ и дружина,

- 4 побара́та /за христиа́ны, //на поганы́та /плаки !
 3 Князéмъ /слава /а дружи́нъ !

Поэзия или проза? Поэтическое облачение прозы или наоборот? Возможно, что наши теперешние сомнения происходят от недостаточного знания гаммы писательских технических приемов, которые использовались в древней Руси, и в будущем будет легче найти ответ на эти вопросы. Однако, уже сейчас кажется не продуктивным различать категории *поэзии* и *прозы*. В целях нашего исследования считаю рациональным учесть возможность существования риторических эффектов, которые в *художественной сегментации* явно находят общий знаменатель.

С другой стороны, то, что те же самые ритмические-сintаксические формулы могут порождать различные эффекты — то приобретая силу поэзии, то почти подчеркивая разговорный тон повествования в прозе — станет совершенно ясным тем, кто сравнит эти отрывки из *Слова о полку Игореве* с некоторыми отрывками из хроник, рассказывающих ту же историю.

Лаврентьевская летопись

- 2 Половци же / услышавше
 4 всю / землю / Русскую / идуще,
 2 бѣжаша / за Донъ.
 4 Свѧтославъ же / слышавъ / ихъ / бѣжавшихъ,

 4 възвратисѧ / къ Кыеву / со всемъ / князьемъ.
 3 И разидошасѧ / въ страны / своего.
 4 Половци же / услышавше / ихъ / отшедшихъ,
 3 гнаша / отали / къ Переяславлю.

 4 И възъша / всѣ / городи / по Сули,
 4 и ч Переяславля / бышаша / весь / день.

Ипатьевская летопись

- 3 И тако / идахочуть /тихо,
 3 свирлюче / дроужиноч / свою.

 5 Блахочуть бо / и оч нихъ / кони / тоучни / велми.
 4 И доушимъ же / имъ / к Донцю / рѣки,

- 5 в го́дъ/вечернии/Игорь жь/воздре́з/на небо,
 4 и виде/слынде/стояще/яко ми́сцець,
 5 и рече/богородъ/своимъ/и дру́жинъ/своенъ
 4 видите ли/что есть/знамение/се ?
- 4 Они же/оуздръвше/и видиша/еси,
 4 и поникоша/глазами/и рекоша/моужи:..

Как “облачение не создает монаха”, так тип сегментации не создает ни прозы, ни поэзии. Однако бесспорно, что в древнерусских текстах находим часто то же самое облачение, под которым могут скрываться и проза, и поэзия.

Можно было бы подумать, что изоколические структуры использовались веками в старом православном славянстве на уровне явной риторической скучности, не прибегая к таким особым эффектам, которые, как рифма, только в пору виршей открыли путь новой поэзии. Однако, и этот интерпретационный тезис не поможет подтвердить обвинение в неодолимой апологетичности, которое часто выдвигается против церковной славянской литературы православного славянского средневековья. Только, кто продолжает ограничиваться секторным представлением о древнерусской традиции, упуская из виду как раз взятый в целом эволюционный процесс, которой охарактеризовал писательские тенденции православного Славянства, тот может не принимать во внимание документы изысканной риторичности, дошедшей до нас из Сербии Дометияна или из тырновской Болгарии патриарха Евтимия. Вот, например, начало *Похвалы Константина и Елены Евтимия из Тырнова*:

- 5 Сла(з)нца ...свѣтлашие/настоящее /показа се/тр҃жество,
 5 въсѣх/просвѣщающи/мысли/и доуше/веселени.
- 4 Оно бѡ/въ дѣни/тьчио/сѧсть,
 3 ношио же/покръвено/бывасть.
 4 се же/и дѣнио/и ношио/сѧсть
 3 и въсѣхъ/къревности/подвижеть.
- 3 Кто бѡ/не очудивит се/и похвалить
 3 толицъ/благъ/виновнаго ?

В этом случае изоколическая регулярность ударений это только один из использованных риторических украшений.

Полные рифмы с^есть-бы^{ть}-с^есть явно опережают на три века технический прием рифмованных *виршей*. С другой стороны, не менее показательно чарующие двухсмысленное и более пониженного тона сплетение фонических соотношений в созвучиях: т^{ръ}жъство-веселеци (ш=шт), подвижъеть-похвалить.

Пройдет еще двести лет, и после упадка средневековой Болгарии и Сербии, в Смутное время и после него восточные славяне вновь вернутся к искусству рифмования. Обычно считается, что они сначала создали рифмованные *вирши* без внутренней меры (*неравносложные стихи*) и только позже начали заботиться о вычислении слогов вплоть до извращения самого их внутреннего поэтического голоса (который, однако, к счастью, продолжал жить в “народе”), запутав его в препонах польской системы силлабизма.

Мне кажется, что такого рода схема неточна. Более внимательный анализ позволяет нам определить в этих *неравносложных стихах* наличие именно старых изоколических структур. Первым примером может служить манера стихотворчества Ивана Наседки (1570-1660). На первый взгляд кажется, что длинные *вирши* не подчиняются никакому внутреннему правилу (*Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII веков*, под ред. А.М. Панченко и В.П. Адриановой-Перетц, Ленинград 1970, стр. 58). Только парные рифмы соединяют их в серии двухстиший. Количество слогов меняется, и при регулярном использовании рифмы, однако, интонация весьма прозаична. Однако, все управляет ударным изоколизмом. Указывая в скобках справа количество слогов, а слева, как обычно, количество ударений в каждой строке-колоне, для того чтобы стала яснее разница между чтением с учетом изоколизма и чтением с уделением внимания количеству слогов:

- | | |
|--|------|
| 6 Дива /убо/ есть/ велика/ та палата/ видети, | (15) |
| 6 Христианом же/ истинным/ зело/ ю/ достоит/ ненавидети, | (18) |
| 6 Златом/ убо/ и сребром/ много/ устроена/ телеснаго та, | (18) |
| 6 В них же/ тайна/ блудная/ вся/ открыта/ срамота, | (15) |
| 6 Их же/ блудним/ рачителем/ в виде/ зretи/ утешно, | (15) |
| 6 Конец же/ зрения/ есть/ мучение/ечно/ безутешно. | (15) |
| 6 В толику/ убо/ гордость/ король он/ Христианус/ прозыде, | (18) |
| 6 Яко же/ и сатана/ на северныя/ горы/ мыслию/ взыде... | (19) |

Казалось бы, что подсчет слогов приводит к едва намеченной симметрии, как будто бы “ученик-поэт” пытается овладеть безуспешно силлабической регулярностью. Однако, разумнее думать, что дезорганизованная последовательность одинакового количества слогов — это ничто иное, как второстепенное и незначительное отражение ударно-изоколической симметрии, на которой основана в основном *рифмованная речь*.

Действительно, стихотворный прием Ивана Наседки весьма грубый. Трудно согласиться с идеей, что такое неумелое использование рифмованных сегментов представляет собой прогресс по сравнению с формальными техническими приемами, которые породили в балканском православном славянстве в XVII веке красноречие Евтимия из Тырнова.

Поскольку проделанные до сих пор мною выборки ограничены, любое обобщение несвоевременно. Во всяком случае, не думаю, что изоколический принцип отражает в целом все ритмо-синтаксические приемы, использованные в старой литературе. Ни средневековая проза, ни поэзия в виршах не следуют с постоянством по изоколическим схемам. В стихах Наседки тоже ударный изоколизм появляется и исчезает без четких правил. То же самое можно сказать о других рифмователях начала XVII века, например, о Иване Хворостинине (умер в 1625-ом г.), в чьей рифмованной поэзии нетрудно найти примеры полномерного использования наиболее традиционных схем изоколизма:

- | | | |
|---|---|------|
| 5 | Aз /обличитель /бых /ереси их /издавна | (13) |
| 5 | И хотех /убо /нечто /оставити /народу; | (14) |
| 3 | Христианскому /священному /роду; | (11) |
| 4 | Но злы /быша /сопостатныя /породы, | (12) |
| 4 | Смутили /наши /блаженныйя /роды. | (11) |
| 4 | Прострох /руку /мою /на спасение, | (11) |
| 3 | На еретическое /известное /потребление. | (15) |
| 5 | И въместо /чернил /быша /мне /слезы, | (11) |
| 5 | Зане /окован /бех /того ради /железы. | (13) |

Важная разница между *рифмованными виршами* XVII века и *рифмованными колонами* в старой поэзии состоит в *типе* использованной *рифмы*. В древнерусской прозе тоже находим

пример того же *рифмованного изоколизма*, который мы заметили в тексте болгарина Евтимия. Напомню по этому поводу только один отрывок из *Повести о приходе Батыя на Рязань*, хорошо известного русистам, потому что его цитирует Н. К. Гудзий в своей *Истории древней русской литературы* именно, как пример *ритмического склада*. Изоколическое чтение не только подчеркивает ритмические особенности, на которые ссылается Гудзий, но и выявляет глагольные рифмы, риторическая функция которых не очень отличается от функций, которую мы наблюдаем у Евтимия:

- 3 великую /княгинию /Агрилену,
- 3 матери /великаго /князя,
- 5 з снохами /и с прочими /княгиниemi /мечи /исекоша;
- 5 а епископа /и священнический /чин /огню /предаша,
- 3 во святей /церкве /пожегоша,
- 4 а инеи /многи /от оружия /падоша;
- 3 а во граде /многих /людей
- 4 и жены /и дети /мечи /исекоша;
- 3 и иных /в реце /потопиша,
- 4 и ереи, /черноризца, /до останка /исекоша;
- 5 и все /узорочие,/ нарочитое /богатство /Резанскоe,
- 5 и сродника /ихъ /Киевское /и Черниговское /поимаша...

Хотя и ясна разница художественного уровня между тем, что мы можем определить высокой *поэтической прозой* Евтимия из Тырнова, и более приглушенной и условной *ритмической прозой* этой *Повести*, однако, кажется, что использование глагольных форм в контексте, построенном на изоколической сегментации, проявляется, как прием, широко-использованный в писательском творчестве. При внимательном взгляде основная роль приема остается той же самой у Наседки и у Хворостинина, но с той разницей, что использованный тип рифмы может иметь определяющее значение в деятельности стихотворцев XVII века. На место использования глагольных рифм приходит широкое использование рифм с существительными. Если речь идет, в самом деле, о глубоком и устойчивом обновлении (что можно будет установить, благодаря более широкому текстологическому анализу), сможем в этом факте заметить признак более глубокой эволюции

от поэзии к прозе. Это подтвердило бы во всяком случае, что наши поиски корней и даже прототипов нового стихосложения в старой прозе имеют основания.

Если, с одной стороны, есть основания для того, чтобы проследить определенную эволюционную последовательность, начиная со средневековой манеры писания в прозе до регулярного использования настоящих стихов в XVII веке, то мы не должны из-за этого уменьшать значение общего большого обновления, которое привело к формированию новой литературной системы в XVII веке. Первые восточнославянские стихотворцы XVI-XVII веков начали использовать риторические принципы и методы — в определенной мере происходившие от культуры позднего гуманизма — которые старая Русь традиционно отвергала. “Поганые хитрости” Запада распространялись прежде всего благодаря польско-украинскому посредничеству, вошли не только в школы иезуитского типа, но и в антикатолические школы братств. Таким образом — со временем изолированной Реторики Макария до периода торжественного обучения Феофана в Могильянской Академии — истинная теория литературы пришла на место старинного литературного учения, которое веками основывалось на изучении Святого письма и Церковных отцов. Необходимо поставить себе вопрос, действительно ли и в какой мере подобный культурный поворот, в ходе которого произошло также и первое зарождение русской поэзии в XVII веке, позволил включение в новую риторическую систему старых писательских технических приемов. Этот вопрос должен быть рассмотрен скорее с помощью текстологического анализа, чем в рамках общей истории литературной цивилизации.

Хотя я и не думаю, что при наших теперешних знаниях можно позволить себе обобщения, мне кажется, что можно извлечь довольно значительные информации из анализа весьма показательного текста. Речь идет о *Carmen serpentinum* Евстратия (1613), опубликованного Панченко в его ценному антологическом сборнике русской поэзии XVII века (цит. соч., стр. 39-40). Такой сложный документ красноречия, построенный на греко-латинских примерах, характерных для поздне-гуманистической дидактики, скрывает в себе четкую изоколическую структуру по старой манере, и мне кажется, что этот факт имеет значительный интерес. Текст Евстратия так воспроизведен Панченко:



Сам Панченко в примечаниях дает *нормальное* чтение стихотворения, ставя в колонну двенадцать *виршей*, отличающихся по длине, но хорошо оркестрированных регулярной последовательностью рифмованных пар:

Единому богу в Троици,
Славивому в единицы;
Безначальному отцу, без отца, без матери не рожденну,
Сыну сначальному, ... цу, от отца без матери порожденну;
Отцю же и сыновину, духу животворящу,
Богу равнопрестольну, святому всясвятища;
Богу в бозе, свету от света,
В простом слозе в вечная лета
Воспевание и слава, честь, поклонение,
Величание, держава, благодарение,

Благословившему начати сей Алфовит
И способившему скончати и сословит.

Мое чтение предлагает более длинный текст (22 строки), в котором очень ясно видно изоколическую сегментацию, отмеченную композиционными схемами (простые и чередующиеся серии с изменчивым распределением), хорошо известными во всей литературе православного славянства. При моем чтении текст удлиняется, потому что словесный “змей” прослеживается во всех своих поворотах для того, чтобы обнаружить все фонические и семантические эффекты, которые порождаются из синтаксических сочетаний. На практике, я читаю дважды там, где Панченко считает достаточным читать один раз. Думаю, что повторение требуется не только из-за содержания, но и из-за формы сочинения Евстратия:

- 2 Единому /в единицы,
- 2 Славимому /в единицы,
- 3 Единому /богу /в Троицы,
- 3 Славивому /богу /в Троицы;

- 5 Безначальному /отцу, /без отца, /без матери, /не рожденну;
- 5 Сыну /сначальному / от отца /без матери /порожденну;

- 4 Отцю же /и сыновину /духу /животворящу,
- 4 Отцю же /и сыновину /святыму /всясвятящу;
- 4 Богу /равнопрестольну /духу /животворящу,
- 4 Богу /равнопрестольну /святыму /всясвятящу;
- 4 Богу /в бозе, /свету /от света,
- 4 Богу /в бозе /в вечная /лета,
- 4 В простом /слозе /свету /от света,
- 4 В простом /слозе /в вечная /лета.

- 4 Воспевание /и слава, /честь, /поклонение,
- 3 Воспевание /и держава, /благодарение,
- 4 Величание /и слава, /честь /поклонение,
- 3 Величание, /держава, /благодарение

- 4 Благословившему /начати /сей /Алфовит,
- 3 Благословившему /скончати /и сословит,
- 4 И способившему /начати /сей /Алфовит,
- 3 И способившему /скончати / и сословит.

Трудно тут провести границу между старой и новой теорией красноречия, между трудом по *плетению словес*, которое напоминает слово-молитву исихастов, и трудом нового ритора, очарованного семантической синтаксической игрой *carmen serpentinum*. Трудно сказать, открывает ли Евстратий новые методы красноречия или чудеса латинского средневековья, оставшиеся неизвестными до тех пор в его стране. Во всяком случае, тут мы оказываемся в другом мире, в литературном мире, открытом приемам, которые в свое время могли быть преследуемы и отвергнуты, как бесовщина. Однако, можно сказать, что новая зарождающаяся поэзия, прежде чем быть обвшана новыми лентами и украшениями, еще воспринимается на старый манер.

Поэзия Евстратия, Хворостинина и Наседки представляет собой переходный этап, называемый обычно *пресиллабическим*. Такие остатки древнерусских хитростей, как тонический изоколизм, становятся в них незначительными по мере постепенного утверждения силлабического стихосложения. Новый силлабический стих, благодаря своему хорошо отрегулированному внутреннему строю, может, действительно, отмечать настолько точные ритмо-синтаксические сегментации, что становится ненужным использование других указаний. Но это не всегда так.

Стих, построенный из слогов, расположенных по раз установленным схемам и четко подчеркнутый рифмой, становится как бы независимым организмом, который не нуждается больше в том, чтобы зависеть категорически и исключительно от умственного процесса. Он не приспосабливается больше, как плющь, к логической конструкции, а создает сам, как дерево, собственный, хотя и ограниченный, пейзаж общения. Логическая и риторическая сегментация не обязаны больше поддерживать друг друга, как в изоколических структурах. Поэтому происходит переход логического сегмента из одного стиха в другой, благодаря, в частности, технике *enjambement* (переноса).

Бывают случаи, в которых это раздельное совместное наличие стиха и логического сегмента в структуре стихотворения выдает, что в силлабических текстах XVII века, а еще больше в начала XVIII века продолжают существовать изоколические схемы.

“Первоначальное” выражение как будто образовано из ударных колонов по машинальной привычке, почти ставшей уже естественной манерой располагать параллельно компоненты мысли одинаковыми сегментами. Затем эта речь упорядочивается по вторичным размерам метрической структуры. Не знаю, составляют ли эти случаи исключение или они так распространены, что составляют риторический тип. Во всяком случае, вот каким образом это одновременное наличие стиха и изоколической структуры регулируется *enjambement* (отмечаю курсивом) в стихотворении Симеона Полоцкого (см. С.В. Калачева, *Эволюция русского стиха*, Москва 1986, стр. 89). Сначала читаем текст в его “нормальном” графическом расположении, как это требует структура рифмованных стихов:

Аще не тщится игрец *натягати*
струни, во гуслех та не может дати
сладкого гласа; тако силы *тела*
неводержанна не дают *весела*
богови гласа; убо *сохранити*
воздержание, тем богу служити.

Затем расположим этот текст по логическим сегментам, выделяя заглавными буквами рифмующие слова так, чтобы одновременно иметь наглядное представление о том, чем отличается от этой сегментации та, которая требуется для стихотворной структуры. Эта операция выявляет совершенное изоколическое расположение логической структуры, производя, таким образом, впечатление спрятанной структуры, почти риторического палимпсеста:

- 5 Аще /не тщится /НАТЯГАТИ/струны,
 5 во гусях /та не может /ДАТИ /сладкого гласа;

- 4 тако /сылы /ТЕЛА /неводержанна
 4 не дают /ВЕСЕЛА /богови /гласа;

- 3 убо /СОХРАНИТИ /воздержание,
 3 тем /богу /СЛУЖИТИ.

Такого же рода структурную “рентгенографию” можно применить к тексту Антиоха Кантемира (1709-1744), самого знаменитого из “диссидентов” обновительного движения, которое привело к фундаментальным и столь оспариваемым

предложениям кодификации Тредьяковского и Ломоносова. Начнем опять с чтения стихотворения в его первоначальном виде (см.: С.В. Калачева, цит. соч., стр. 92). Затем выделим посредством иного графического расположения логическую сегментацию, которая и в этом случае имеет четкую (хотя и неявную на первый взгляд) изоколическую сегментацию. Кроме выделения курсивом *enjambements*, отмечаю здесь расставленными буквами две синтаксически-композиционные особенности: (а) вступительные слова, *Мудрый первосвященник*, должны быть прочитаны, как возглашение: (*Sapiens ille sacerdos summus!*), риторически, как независимый сегмент, хотя служат для грамматической связи (ему же... ему же...) последующим хвалебным высказываниям; (б) между сказуемым *показа*—которым начинается четвертый стих—и подлежащим *Феофан* — которым начинается пятый стих—находится оборот, зависящий от подлежащего *Феофан*: раздвинутые буквы помогают выделить единство предложения (*показа Феофан*), которое, будучи разделенным в двух стихах, требует от читателя *передвижения от сегмента к сегменту*, подобно тому, как это требуется в случае :

Мудрый первосвященник! ему же Минерва
откры вся сокровенна и все, что исперва
в твари бысть и днесь уже мир весь исполняют,
п о к а з а, изъяснив ти отчего бывают,
Ф е о ф а н; ему же известно, что знати
может человек, и ум человечь поняти.

Мудрый первосвященник!
 5 ему же /МИНЕРВА /откры /вся /сокровенна;
 5 и все, /что /ИСПЕРВА /во твари /бысть
 5 и днесь /яже /мир /весь /исполняют,
 5 показа, /изъяснив ти /отчего /бывают, /Феофан;

 3 ему же /все /известно,
 3 что /ЗНАТИ /может /человек
 3 и ум /человечь /поняти.

Мне кажется излишним настаивать на чисто экспериментальном значении такого типа анализа. Различение между первоначальным выражением и вторичными структурами сти-

хосложения, конечно, не подразумевает идею действительной последовательности фаз в создании текста, различающихся одна от другой. Существование двух схем, изоколической и стихотворной, доказывает, однако, что древние модели продолжали и постоянно действовали внутри риторической системы.

Не думаю, что само по себе, мое теперешнее сообщение достаточно для того, чтобы наметить новый интерпретативный синтез разнообразного процесса, в ходе которого зародилась и приобрела форму русская поэзия с XV-XVII до XVIII века. Я намеренно следовал по единственной линии, представленной изоколической традицией, потому что только так я мог рассчитывать на то, чтобы объяснить специфические проблемы, которым посвящено мое исследование. Это не значит, однако, что другие исторические компоненты русского стихосложения и другие обуславливающие факторы его изменения и развития не заслуживают такого же внимания. Кроме изоколических структур, древнерусские тексты передали нам немало зародков и протомоделей поэзии: начиная с форм приспособления текста к интонациям литургического пения и с остатков записей устной поэзии до *кондакарного стиха*, исследованного Позднеевым, и до *молитвословного стиха*, так полноценно представленного Кирилом Тарановским. Мне кажется, однако, что изоколические структуры, именно благодаря их широкому распространению в прозе православного славянства в ходе веков, представляют собой особенно благоприятную область исследования. Если то, что теперь мы можем предугадывать, примет более четкую форму, благодаря более обширным, аккуратным и углубленным исследованиям, мы не должны будем ограничиваться поисками спорадических оазисов поэзии в обширной пустыне древнерусской литературы, а должны будем искать именно в старой прозе — богатство которой формальными приемами оказывается теперь гораздо большим, чем предполагалось несколько десятков лет назад —, многие корни новой поэзии.

(Перевод З. Эндер)